

КУНДЕРА

милан
кундера

Книга

смеха
и заветния

ИЗДАТЕЛСТВО
«ИНОСТРАНКА»

Милан Кундера

Книга смеха и забвения

Серия «Большой роман»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67917077

Книга смеха и забвения: Иностранка, Азбука-Амтикус; М.; 2022

ISBN 978-5-389-20889-6

Аннотация

Милан Кундера принадлежит к числу самых популярных писателей современности. Его книги буквально завораживают читателя изысканностью стиля, умелым построением сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое произведение писателя пополняет ряд бестселлеров интеллектуальной прозы.

«Книга смеха и забвения» – это пестрая мозаика любви, памяти и фантазии, семь историй, обнажающих подлинно трагическую изнанку человеческой жизни. Называя свою книгу романом, Кундера уточнял: «Эта книга – роман в форме вариаций. Отдельные части следуют одна за другой, как отдельные отрезки пути, ведущего внутрь темы, внутрь мысли, внутрь одной-единственной ситуации, понимание которой теряется в необозримой дали».

Содержание

Первая часть. Утраченные письма	6
1	6
2	8
3	10
4	12
5	15
6	18
7	20
8	22
9	24
10	26
11	28
12	30
13	32
14	34
15	36
16	38
17	41
18	43
19	45
Вторая часть. Мама	46
1	46
2	49

3	51
4	53
5	56
6	60
7	64
8	66
9	70
10	74
11	78
12	82
13	86
Третья часть. Ангелы	90
1	90
2	93
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Милан Кундера

Книга смеха и забвения

Milan Kundera

LE LIVRE DU RIRE ET DE L'OUBLI

Copyright © 1978, 1985, Milan Kundera

All rights reserved

All adaptations of the work for film, theatre, television and radio are strictly prohibited.

© Н. М. Шульгина (наследник), перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

Первая часть. Утраченные письма

1

В феврале 1948 года вождь коммунистической партии Клемент Готвальд вышел на балкон пражского барочного дворца, чтобы обратиться с речью к сотням тысяч сограждан, запрудивших Староместскую площадь. Это была историческая минута в судьбе Чехии.

Рядом с Готвальдом, окруженным соратниками, находился Клементис. Шел снег, холодало, а Готвальд стоял с непокрытой головой. Заботливый Клементис снял свою меховую шапку и надел ее на голову вождя.

Отдел пропаганды размножил в сотнях тысяч экземпляров фотографию балкона, на котором Готвальд в барашковой шапке, окруженный соратниками, говорит с народом. На этом балконе началась история коммунистической Чехии. Любой ребенок знал эту фотографию по плакатам, учебникам и музейным экспозициям.

Четырьмя годами позже Клементис был обвинен в измене и повешен. Отдел пропаганды незамедлительно удалил его из истории и, разумеется, из всех фотографий. С той поры на балконе Готвальд стоит уже один. Там, где некогда был Клементис, теперь только голая стена дворца. От Клементи-

са осталась лишь шапка на голове Готвальда.

1971 год. Мирек говорит: борьба человека с властью – это борьба памяти с забвением.

Так он пытается оправдать то, что его друзья называют неосмотрительностью: он тщательно ведет дневники, собирает письма, делает заметки на всех собраниях, на которых идет речь о настоящем положении вещей и решается вопрос о дальнейших действиях. Он объясняет им: я ничем не нарушаю Конституцию. Прятаться и ощущать себя виноватым – было бы началом поражения.

Неделю назад, работая со строительной бригадой на крыше новостройки, он посмотрел вниз и почувствовал головокружение. Покачнувшись, ухватился за неукрепленную балку; она сорвалась, и его пришлось высвободить из-под нее. На первый взгляд ранение выглядело ужасно, но затем, убедившись, что это всего лишь обычный перелом руки, он не без удовлетворения подумал о нескольких предстоящих свободных неделях, когда он наконец сумеет завершить дело, для которого до сих пор не находил времени.

Ему все-таки пришлось признать правоту своих более осмотрительных товарищей. Даже если Конституция и гарантирует свободу слова, законы, однако, карают за все, что может быть истолковано как подрыв государства. Но откуда нам знать, когда государство поднимет крик, что то или иное

слово подрывает его? И потому он все же решил переправить компрометирующие бумаги в безопасное место.

Но прежде всего надо было поставить точку в истории со Зденой. Он пытался дозвониться в ее город, что в ста километрах от Праги, но безрезультатно. Зря потерял четыре дня. Только вчера ему удалось поговорить с ней. Она обещала ждать его нынче после обеда.

Семнадцатилетний сын Мирека считал, что с загипсованной рукой он не сможет вести машину. И вправду, это оказалось непросто. Сломанная рука болталась на перевязи у груди беспомощно и без всякого проку. Каждый раз, когда приходилось переключать скорость, он отпускал руль.

Он встречался со Зденой двадцать пять лет назад, и о той поре у него сохранилось лишь несколько воспоминаний.

Как-то раз она явилась к нему, утирая платком глаза и шмыгая носом. Он спросил, что случилось. Она объяснила ему, что вчера умер в России один большой человек. Некий Жданов, Арбузов или Мастурбов. Судя по количеству пролитых слез, смерть Мастурбова потрясла ее больше смерти собственного отца.

Могло ли вообще такое случиться? Уж не нынешняя ли его ненависть придумала эти рыдания по Мастурбову? Нет, это было на самом деле. Конечно, и то правда, что непосредственные обстоятельства, делавшие ее рыдания искренними и настоящими, нынче уже ускользали от него, и воспоминание сделалось неправдоподобным, точно карикатура.

Все сохранившиеся о ней воспоминания были такого же рода. Однажды они вместе возвращались на трамвае из квартиры, где впервые познали друг друга. (Со странным удовлетворением Мирек обнаружил, что об их любовных встречах он забыл начисто и не смог бы восстановить в памяти ни одного их мгновения.) Она сидела в уголке на скамейке, крупная, сильная (по сравнению с ней он был маленький и хрупкий), трамвай дребезжал, и ее лицо было мрачным, замкнутым и на удивление старым. Он спросил ее, отчего она такая

молчаливая, и услышал в ответ, что она не удовлетворена их любовной близостью. Сказала, что он спал с ней, как интеллигент.

«Интеллигент» на тогдашнем политическом жаргоне было словом бранным. Оно определяло человека, не понимающего жизни и оторванного от народа. Все коммунисты, вздернутые в то время другими коммунистами, были удостоены этим ругательством. В отличие от тех, кто обеими ногами стоял на земле, они якобы витали в облаках. А посему представлялось справедливым, что земля у них из-под ног была в наказание окончательно выбита и они повисли невысоко над ней.

Что Здена имела в виду, обвиняя его, что он спал с ней, как интеллигент?

Так или иначе, но она была не удовлетворена им, и подобно тому, как сумела наполнить некое абстрактное отношение (отношение к неведомому Мастурбову) самым конкретным чувством (материализованным в слезах), и самому конкретному действию смогла придать абстрактный смысл, а для своей неудовлетворенности найти политическое обозначение.

Он смотрит в зеркальце заднего обзора и понимает, что за ним неотрывно следует легковушка. Он никогда не сомневался в том, что за ним установлена слежка, но до сих пор они соблюдали искусную осторожность. С сегодняшнего дня дело коренным образом изменилось: они хотят, чтобы он знал о них.

Примерно в двадцати километрах от Праги посреди поля высится ограда, а за ней – авторемонтные мастерские. Там у него хороший знакомый, который сможет заменить ему неисправный стартер. Перед въездом, перегороженным шлагбаумом в красно-белую полосу, он остановился. Возле шлагбаума стояла толстая тетка. Мирек подождал, пока она откроет проезд, но тетка все смотрела на него и не двигалась с места. Он посигналил, но результат был тот же. Он выглянул из окна. Тетка сказала: – А вас еще не забрали?

– Нет, меня еще не забрали, – ответил Мирек. – Вы можете поднять шлагбаум?

Она еще с минуту равнодушно смотрела на него, а потом, зевнув, пошла в будку. Рассевшись там за столом, она больше не удостоивала Мирека даже взглядом.

Он вышел из машины и, обойдя шлагбаум, направился в мастерскую, чтобы найти знакомого механика. Тот, вернувшись вместе с Миреком, сам поднял шлагбаум (тетка по-

прежнему безучастно сидела в будке), и Мирек смог въехать во двор.

— Ну видишь, а все потому, что ты без конца мельтешил в телике, — сказал механик. — Любая баба с лица тебя узнаёт.

— А это кто? — спросил Мирек.

Как выяснилось, вторжение русской армии, захватившей Чехию и повсеместно навязывавшей свое влияние, в корне изменило жизнь этой женщины. Видя, что люди, занимавшие более высокие должности, чем она (а все кругом занимали более высокие должности, чем она), по самому ничтожному наговору лишаются власти, положения, работы и хлеба насущного, распалилась и сама начала доносить.

— Почему же она по-прежнему торчит в будке у шлагбаума? Ее что, так и не повысили в должности?

Автомеханик улыбнулся: — Она и до пяти тебе не сосчитает. Как ее повысить? Они только и могут, что снова подтвердить ее право наушничать. В этом вся ее награда. — Подняв капот, он занялся мотором.

Вдруг Мирек осознал, что в двух шагах от него стоит человек. Он оглядел его: на нем были серый пиджак, белая рубашка и коричневые брюки. Над толстой шеей и отеком лицом волнились уложенные седые волосы. Он стоял и смотрел на автомеханика, пригнувшегося под открытым капотом.

Автомеханик вскоре тоже заметил его и, выпрямившись, спросил: — Вы кого-нибудь ищете?

Мужчина с толстой шеей и уложенными волосами ответил: – Нет, я никого не ищу.

Автомеханик, снова склонившись над мотором, сказал: – На Вацлавской площади в Праге стоит человек и блюет. Мимо него идет другой, смотрит на него и печально кивает: «Знали б вы, как я вас понимаю...»

Убийство Альенде быстро перекрыло воспоминание о русском вторжении в Чехословакию, кровавая резня в Бангладеш заставила забыть об Альенде, война в Синайской пустыне заглушила стенания Бангладеш, бойня в Камбодже заставила забыть о Синае и так далее и так далее – вплоть до полного забвения всех обо всем.

Во времена, когда история двигалась еще медленно, ее немногочисленные события легко запоминались и создавали общеизвестный *фон*, на котором разыгрывались захватывающие сцены приключений из частной жизни. Сейчас время движется быстрым шагом. Историческое событие, за ночь забытое, уже назавтра искрится росой новизны, и потому в подаче рассказчика является не фоном, а ошеломляющим *приключением*, которое разыгрывается на фоне общеизвестной банальности частной жизни.

Ни одно историческое событие не следует считать общеизвестным, и потому даже о тех из них, что произошли всего лишь несколько лет назад, мне приходится рассказывать как о событиях тысячелетней давности: в 1939 году походным порядком вошла в Чехию немецкая армия и государство чехов перестало существовать. В 1945 году в Чехию походным порядком вошла русская армия и страна вновь стала называться независимой республикой. Люди восторгались Росси-

ей, изгнавшей из их страны немцев. А поскольку в чешской коммунистической партии видели ее верного сподвижника, перенесли свою симпатию и на нее. И так случилось, что в 1948 году коммунисты взяли власть не кровью и насилием, а под ликование доброй половины народа. И обратите внимание: та половина, что ликовала, была более активной, более умной, была лучшей половиной.

Да, что бы вы ни говорили, но коммунисты были умнее. У них была грандиозная программа. План совершенно нового мира, в котором все найдут свое место. У тех, кто противостоял им, не было никакой великой мечты, разве что несколько моральных принципов, избитых и скучных, которыми они хотели залатать разодранные штаны установленного порядка. И потому неудивительно, что эти энтузиасты, люди широкого размаха, одержали победу над осторожными соглашателями и стали быстро претворять в жизнь свою мечту: идиллию справедливости для всех.

Подчеркиваю снова: *идиллию* и *для всех*, ибо все люди издавна мечтают об идиллии, о том саде, в котором поют соловьи, о том пространстве гармонии, где мир не восстает на человека, а человек – на себе подобных, где, напротив, мир и все люди созданы из единой материи и огонь, пылающий на небесах, – это огонь, горящий в человеческих душах. Там каждый человек являет собой ноту в прекрасной фуге Баха, а кто не хочет быть ею, останется лишь черной точкой, ненужной и бессмысленной, которую достаточно поймать и

раздавить между ногтями, как блоху.

С самого начала иные осознали, что лишены характера, требуемого для идиллии, и захотели покинуть страну. Но поскольку суть идиллии в том, что она мир для всех, пожелавшие эмигрировать продемонстрировали свое неприятие идиллии и вместо того, чтобы уехать за кордон, угодили за решетку. Вскоре туда за ними последовали тысячи и десятки тысяч других, а заодно с ними и многие коммунисты, такие, например, как министр иностранных дел Клементис, водрузивший когда-то на голову Готвальда свою шапку. На киноэкранах держались за руки робкие любовники, супружеская измена сурово каралась гражданскими судами чести, соловьи пели, и тело Клементиса качалось, словно колокол, возвещавший новую зарю человечества.

И тогда эти молодые, умные и решительные люди вдруг обнаружили в себе странное чувство, что они выпустили в мир поступок, который зажил собственной жизнью, перестал походить на их исконные представления и презрел тех, кто его породил. И вот эти молодые и умные начали вызывать к своему поступку, воскрешать его, хулить, преследовать, гоняться за ним. Если бы я писал роман о поколении тех одаренных и решительных людей, я назвал бы его *Погоней за утраченным поступком*.

Механик захлопнул капот, и Мирек спросил, сколько должен ему. – Ерунда, – ответил тот.

Мирек сел за руль, он был тронут. Ему совсем не хотелось продолжать путь. Куда охотнее он остался бы с механиком и обменялся бы с ним анекдотами. Механик, наклонившись к машине, хлопнул Мирека по плечу и пошел к будке – поднять шлагбаум.

Когда Мирек проезжал мимо, механик кивком указал ему на машину, припаркованную у въезда в мастерскую. Там, склонившись у открытой двери машины, стоял мужчина с толстой шеей и уложенными волосами. Он смотрел на Мирека. Парень, что сидел за рулем, тоже наблюдал за ним. Оба смотрели на Мирека нагло, без стеснения, и Мирек, проезжая мимо, постарался ответить им таким же взглядом.

Миновав их, он увидел в зеркальце заднего обзора, как мужчина вскочил в машину и она, развернувшись дугой, пристроилась к нему в хвост.

Мысль, что надо было раньше избавиться от компромата, тотчас пришла ему в голову. Нельзя было подвергать опасности и себя, и своих друзей. Если бы он сделал это в первый же день своей болезни и не ждал, пока дозвонится до Здены, возможно, ему удалось бы все вывезти без всякого риска. Но сейчас ничто не занимало его так, как поездка к Зде-

не. Впрочем, он думал об этом уже немало лет. Но в последние недели его преследует мысль, что с этим нельзя больше мешкать, ибо его судьба близится к концу и он должен сделать все ради ее совершенства и красоты.

Когда в те давние времена он расстался с ней, его опьянило ощущение беспредельной свободы и все вдруг стало ему удаваться. Вскоре он женился на женщине, чья красота выковала в нем сознание собственного достоинства. Потом его красавица умерла, и он остался один с сыном в какой-то кокетливой сиротливости, вызывавшей восхищение, интерес и заботу многих других женщин.

Он преуспевал и в своей научной работе, и этот успех защищал его. Государство нуждалось в нем, и потому он мог позволить себе отпускать колкости по его адресу еще в ту пору, когда почти никто не отваживался на это. Постепенно, по мере того как те, что в погоне за своим поступком обретали все большее влияние, он тоже все чаще появлялся на телеэкране и сделался весьма заметной фигурой. Когда после прихода русских он отказался предать свои взгляды, его выгнали с работы и обложили легавыми. Это не сломило его. Он был влюблен в свою судьбу, и ему казалось, что его путь к гибели полон величия и красоты.

Поймите меня правильно: я сказал, что он был влюблен в свою судьбу, но не в самого себя. Это две абсолютно разные вещи. Его жизнь как бы обрела самостоятельность и стала вдруг отстаивать исключительно собственные интересы, что далеко не совпадали с интересами самого Мирека. Имен-

но это я и имею в виду, утверждая, что его жизнь превратилась в судьбу. Судьба не думала даже пальцем шевельнуть ради Мирека (ради его счастья, безопасности, хорошего настроения и здоровья), тогда как Мирек готов был сделать все для своей судьбы (для ее величия, ясности, красоты, стиля и внятного смысла). Он чувствовал себя ответственным за свою судьбу, однако его судьба не чувствовала себя ответственной за него.

К своей жизни он относился как скульптор к своему изваянию или романист к своему роману. Одно из неотъемлемых прав романиста – возможность переработать свой роман. Если его не устраивает начало, он волен переписать его или просто вычеркнуть. Но существование Здены лишало Мирека авторских прав. Здена настаивала на том, что она останется на первых страницах романа и вычеркнуть себя не позволит.

Но почему, собственно, он так отчаянно стыдится ее?

Скорее всего, напрашивается такое объяснение: Мирек с давних пор принадлежал к тем, кто пустился в погоню за собственным поступком, тогда как Здена оставалась приверженной саду, где поют соловьи. А в последнее время она и во все относилась к тем двум процентам населения, кто приветствовал русские танки.

Да, это правда, но я не считаю это объяснение достаточно убедительным. Если бы речь шла лишь о том, что она приветствовала русские танки, он осудил бы ее во всеуслышание и не отрицал бы того, что знает ее. Здена провинилась перед ним в гораздо большем. Она была уродлива.

Но много ли значило то, что она была уродлива, коль он не спал с ней более двадцати лет?

А вот и значило: большой нос Здены даже издалека бросал тень на его жизнь.

Несколько лет назад у него была красивая любовница. Однажды она наведлась в город, где проживала Здена, и вернулась оттуда вне себя: – Скажи мне, пожалуйста, как ты мог крутить любовь с этой страшилой?

Он ответил, что знаком был с ней лишь поверхностно, а их интимные отношения опроверг начисто.

Все дело в том, что он был посвящен в великую тай-

ну жизни: женщины не ищут красивых мужчин. Женщины ищут мужчин, обладающих красивыми женщинами. Поэтому уродливая любовница – это роковая ошибка. Мирек пытался замести все следы своей связи со Зденой, а так как любящие соловьев все больше и больше его ненавидели, он надеялся, что и Здена, успешно делавшая карьеру партийной функционерки, быстро и охотно забудет о нем.

Но он ошибался. Она говорила о нем всегда, везде и при любых обстоятельствах. Если он по несчастливой случайности встречал ее в обществе, она всеми правдами и неправдами спешила оживить какое-то воспоминание, явно свидетельствовавшее о том, что когда-то они были близко знакомы.

Он неистовствовал.

– Если ты так ненавидишь эту женщину, объясни мне, почему ты встречался с ней? – задал ему однажды вопрос его приятель, знавший ее.

Мирек стал объяснять ему, что он был тогда двадцатилетним балбесом, а она – старше его, всесильная, уважаемая, все восхищались ею! Она практически знала каждого работника Центрального комитета партии! Помогала ему, продвигала, знакомила с влиятельными людьми!

– Я был карьеристом, пойми же ты, болван! – кричал он. – Напористым, молодым карьеристом! Поэтому я ухватился за нее, и мне было начхать, что она уродлива!

Мирек говорил неправду. Здена была того же возраста, что и он. Хоть она и оплакивала смерть Мастурбова, двадцать лет назад у нее не было ни влиятельных связей, ни возможности поспособствовать своей карьере или чьей-либо другой.

Тогда почему он это выдумывает? Почему лжет?

Одной рукой он держит руль, в зеркальце заднего обзора видит машину тайных агентов и вдруг покрывается краской. В нем проснулось одно совершенно неожиданное воспоминание.

Когда после их первой любовной близости она попрекнула его чересчур интеллигентной манерой вести себя, он решил в следующий раз исправить впечатление и проявить ничем не скованную, необузданную страсть. Нет, неправда, что он забыл обо всех их интимных встречах! Одну из них он видит сейчас абсолютно явственно: он двигался на ней с притворной дикостью, издавая протяжный, рычащий звук, сродни тому, что издает пес, воюющий со шлепанцем своего хозяина, и при этом (с легким удивлением) смотрел, как она очень спокойно, тихо и почти безучастно лежит под ним.

Машина оглашалась этим рычанием двадцатилетней давности — мучительным звуком его покорности и рабского усердия, звуком его готовности и приспособленчества, его

комичности и убожества.

Да, именно так: Мирек был готов объявить себя карьеристом, лишь бы не признать правды: он встречался с уродиней, потому что посягнуть на красивую женщину не хватало духу. Ни на что большее, чем на Здену, он не смел рассчитывать. Слабодушие и нужда – вот тайна, которую он скрывал.

Машина оглашалась яростным рычанием страсти, и этот звук убеждал его, что Здена лишь магический образ, который он хотел бы стереть, дабы уничтожить в нем свою ненавистную молодость.

Он остановился у ее дома. Машина, преследовавшая его, притормозила сзади.

Исторические события по большей части бесталанно похожи одно на другое, однако мне кажется, что в Чехии история провела невиданный эксперимент. Там не просто восстал, согласно старым рецептам, одна группа людей (класс, нация) против другой, а люди (одно поколение людей) восстали против собственной молодости.

Они стремились догнать и укротить собственный поступок, и это им почти удалось. В шестидесятые годы их влияние возрастало все больше и больше, и в начале 1968 года оно стало почти безраздельным. Этот период обычно принято называть *Пражской весной*: стражам идиллии пришлось демонтировать микрофоны в частных квартирах, границы стали открытыми, из партитуры великой фуги Баха убежали ноты, и каждая запела на свой лад. Это было невообразимое веселье, это был карнавал!

Россия, пишущая великую фугу для всего земного шара, не могла допустить, чтобы где-то разбежались ноты. 21 августа 1968 года она направила в Чехию полумиллионную армию. Вслед за этим страну покинуло примерно сто двадцать тысяч чехов, а из тех, что остались, около пятисот тысяч вынуждены были расстаться со своей работой и пойти гнуть спину в мастерские, затерянные в глуши, у конвейеров периферийных фабрик, за рулем грузовиков, то есть в такие

места, откуда уже никто никогда не услышит их голоса.

А чтобы даже тень досадного воспоминания не нарушала возрожденной в стране идиллии, Пражскую весну и вторжение русских танков, это пятно на прекрасной истории, необходимо было полностью изгладить из сознания. И потому сейчас в Чехии уже никто не вспоминает годовщину 21 августа, и имена людей, восставших против собственной молодости, тщательно вычеркнуты из памяти страны, как ошибка в школьном задании.

И Мирек один из тех, чье имя было так же вычеркнуто. Если он и поднимается по лестнице к двери Здены, это всего лишь белое пятно, фрагмент едва очерченной пустоты, восходящей по винтовой лестнице.

Он сидит напротив Здены, рука качается на перевязи. Здена, избегая его взгляда, косится в сторону и торопливо проговаривает:

– Не знаю, зачем ты приехал. Но я рада, что ты приехал. Я говорила с товарищами. Это была бы полная бессмыслица, проводи ты остаток своей жизни поденщиком на стройке. Я точно знаю, партия еще не закрыла перед тобой двери. Еще есть время.

Он спросил, что ему следует делать.

– Потребуй, чтобы тебя приняли и выслушали. Ты сам должен сделать первый шаг.

Он знал, о чем идет речь. Ему не раз давали понять, что у него есть еще последние пять минут, чтобы вслух заявить о своем отречении от всего, что он когда-либо говорил и делал. Он знает эту торговлю. Они охотно продают людям будущее за их прошлое. Они станут принуждать его пойти на телевидение и, обратившись к народу, покаянным голосом объяснить ему, что он ошибался, высказываясь против России и соловьев. Они станут принуждать его отбросить свою жизнь и стать тенью, человеком без прошлого, актером без роли, и в тень обратить даже свою отброшенную жизнь, даже роль, покинутую актером. И вот, уже обращенному в тень, ему позволят жить.

Он смотрит на Здену: почему она говорит так торопливо и неуверенно? Почему косится в сторону, избегая его взгляда?

Это ему даже очень хорошо понятно: она подстроила для него ловушку. Она действует по поручению партии или полиции. Ее цель – заставить его покориться.

Но Мирек ошибался! Никто не поручал Здене вступать с ним в переговоры. О нет, нынче уже никто из сильных мира сего не согласится принять и выслушать Мирека, как бы он ни добивался того. Слишком поздно.

Если Здена и призывает Мирека предпринять какие-то шаги ради его же пользы, утверждая, что об этом просят его самые высокопоставленные товарищи, ею руководит просто беспомощное, растерянное желание как-то помочь ему. И если при этом она говорит столь торопливо и отводит глаза в сторону, то не потому, что держит в руке наготове ловушку, а потому, что руки у нее совершенно пусты.

Понимал ли ее когда-нибудь Мирек?

Он всегда полагал, что Здена потому так яростно предана партии, что она фанатичка от политики.

Но Мирек ошибался. Она осталась верна партии, потому что любила его.

Когда он покинул ее, она мечтала лишь об одном: доказать, что верность в жизни превыше всего. Она хотела доказать, что он неверен *во всем*, а она *во всем* верна. То, что казалось политическим фанатизмом, было лишь предлогом, параболой, манифестом верности, зашифрованным упреком обманутой любви.

Я могу представить себе, как в одно августовское утро ее

разбудил неистовый гул самолетов. Она выбежала на улицу, и встревоженные люди сказали ей, что русская армия захватила Чехию. Она разразилась истерическим смехом. Русские танки пришли наказывать всех неверных! Наконец она увидит погибель Мирека! Наконец увидит его на коленях! Наконец она сможет склониться над ним, она, знающая, что такое верность, и протянуть ему руку помощи.

Он решил грубо оборвать разговор, уклонившись в сторону.

– Ты наверняка помнишь, что когда-то я послал тебе уйму писем. Я хотел бы забрать их.

Вскинув в удивлении голову, она спросила: – Письма?

– Да, мои письма. Я тогда послал их тебе не один десяток.

– Да, твои письма, понятно, – говорит она и вдруг, перестав коситься в сторону, смотрит ему прямо в глаза. У Мирека создается неприятное впечатление, что она видит его насквозь и знает совершенно точно, что он хочет и почему хочет.

– Письма, да, твои письма, – повторяет она, – недавно я их снова перечитала. И спрашивала себя, возможно ли, что ты был способен на такой взрыв чувств.

И она еще несколько раз повторяет слова *взрыв чувств*, но произносит их уже не торопливой скороговоркой, а медленно и взвешенно, словно метит в цель, боясь промахнуться, и не сводит с него глаз, словно желая убедиться, что цель достигнута.

У груди болтается рука в гипсе, а лицо горит, словно ему дали пощечину.

О да, его письма наверняка были жутко сентиментальны. А как же иначе! Любой ценой он должен был доказать себе, что это не его слабодушие и нужда, а любовь, которая его с ней связывает! И в самом деле, лишь непомерная страсть могла оправдать его близость с этой уродиной.

– Ты написал мне, что я твой соратник по борьбе, помнишь?

Он краснеет еще больше, если это вообще возможно. Какое немыслимо смешное слово *борьба*. Чем была их борьба? Они сидели на бесконечных собраниях, натирая мозоли на задницах, но когда поднимались со стула, чтобы высказать какую-нибудь ужасно радикальную мысль (классовый враг заслуживает еще более сурового наказания, тот или иной взгляд необходимо сформулировать куда решительнее), мнили себя не иначе как фигурами с героических полотен: он падает на землю с пистолетом в руке и кровоточащей раной в предплечье, а она, также с пистолетом в руке, идет вперед, туда, куда ему уже не суждено дойти.

Тогда его кожа была еще усыпана запоздалой пубертатной сыпью, и дабы скрыть ее, он надел на себя маску бунтарства. Любил всем рассказывать, как навсегда порвал с отцом

– крестьянином. Он, дескать, плюнул в лицо столетней деревенской традиции, завязанной на земле и собственности. Он рисовал сцену ссоры и свой драматический уход из отчего дома. Но в этом не было и крупинцы правды. Оглядываясь сейчас назад, он не видит там ничего, кроме легенды и лжи.

– Ты тогда был совсем другим человеком, – говорит Здена.

И он представил себе, как увозит с собой пачку писем. Он останавливается у ближайшего мусорного бака, брезгливо, двумя пальцами, берет эти письма, словно измаранную дерьмом бумагу, и бросает их в мусор.

– Зачем тебе эти письма? – спросила она. – Что ты с ними собираешься делать?

Разве он мог сказать ей, что хочет бросить их в мусорный бак? Придав своему голосу меланхолический тон, он стал говорить ей, что достиг уже того возраста, когда оглядываешься назад.

(Говоря это, он испытывал неловкость, чувствовал, что его рассказы звучат неубедительно, и ему было стыдно.)

Да, он оглядывается назад, ибо уже забыл, каким был в молодости. Он понимает, что потерпел крах. И посему хотел бы вернуться к своим истокам, чтобы лучше осознать, где допустил промахи. Вот почему он хочет вернуться и к своей старой переписке, ибо в ней заключена тайна его молодости, тайна его начал и отправных точек.

Она покачала головой: – Я никогда не отдам их тебе.

– Я хочу их взять только на время, – солгал он.

Она продолжала отрицательно качать головой.

Он вдруг подумал, что где-то здесь рядом в ее квартире лежат его письма, которые она может давать читать кому угодно и когда угодно. Ему казалось невыносимым, что целый кусок его жизни остался в ее руках, и его охватило желание стукнуть ее по голове тяжелой стеклянной пепельницей, стоявшей на столике между ними, и удрать, прихватив с со-

бой письма. Но вместо этого он снова стал ей объяснять, что, оглядываясь назад, он хочет больше узнать о своих истоках.

Она посмотрела на него, взглядом заставила замолчать: — Я никогда не отдам их тебе. Никогда.

Провожая его, Здена вышла с ним на улицу; обе машины были припаркованы перед ее домом, одна позади другой. Легавые прохаживались по противоположному тротуару. При виде Мирека и Здены остановились, не сводя с них глаз.

Он кивнул в их сторону: – Эти два господина следуют за мной всю дорогу.

– В самом деле? – спросила она с недоверием, и в ее голосе послышалась явно подчеркнутая ирония. – Все тебя преследуют, не правда ли?

Как она может быть так цинична и говорить ему прямо в лицо, что эти двое, оглядывающие их так нагло и демонстративно, всего-навсего случайные прохожие?

Тому лишь одно объяснение: она играет в их игру. Игру, которая основана на том, что все делают вид, будто никакой тайной полиции не существует и никого не преследуют.

Легавые тем временем перешли улицу и, подойдя к своей машине, на глазах у Мирека и Здены нырнули в нее.

– Всего хорошего, – сказал Мирек, даже не взглянув в сторону Здены. Сел за руль. В зеркальце заднего обзора он видел машину тайных агентов, следовавшую за ним. Здену он не видел. Не хотел ее видеть. Уже никогда не захочет видеть ее.

Поэтому он не знал, что она стояла на тротуаре и долго

смотрела ему вслед. У нее был испуганный вид.

Нет, это был не цинизм, когда она отказывалась видеть в мужчинах на противоположном тротуаре тайных агентов. Вещи сверх ее понимания вселяли страх. Она хотела скрыть правду от него и от самой себя.

Вдруг между Миреком и машиной тайных агентов вклинился красный спортивный автомобиль, управляемый бешеным гонщиком. Мирек нажал на газ. Они как раз въезжали в небольшой городишко. Дорога делала здесь поворот. Мирек сообразил, что в эту минуту преследователи не видят его, и свернул в маленькую улочку. Резко завизжали тормоза, и переходивший улицу мальчик едва успел отскочить в сторону. В зеркальце заднего обзора Мирек увидел, как по главной магистрали промелькнул красный автомобиль. Но машина преследователей все еще не показывалась. Ему удалось быстро свернуть в следующую улицу и таким образом окончательно исчезнуть из их поля зрения.

Дорога, по которой он выехал из города, тянулась в совершенно ином направлении. Он посмотрел в зеркальце заднего обзора. Никто его не преследовал, дорога была пуста.

Он представил себе, как несчастные шпики ищут его и как трясутся, что шеф крепко пропесочит их. Он вслух рассмеялся. Сбавил скорость и стал оглядывать местность. Никогда прежде он не позволял себе этого. Он всегда куда-то спешил, чтобы устроить или обсудить какие-то дела, и потому пространство мира воспринимал как нечто негативное, как потерю времени, препятствие, тормозившее его деятельность.

Впереди него медленно опускаются два шлагбаума в крас-

но-белую полосу. Он останавливается.

Чувствует себя вдруг безмерно усталым. Зачем он к ней ездил? Почему, собственно, хотел забрать свои письма?

На него обрушивается вся бессмысленность, смехотворность, ребячливость этой поездки. Она не была результатом какого-либо рассуждения или практического интереса, им руководило лишь неодолимое желание. Желание запустить руку в свое далекое прошлое и сокрушить его кулаком. Желание расплосковать ножом образ своей молодости. Страстное желание, которое он не умел обуздать и которое так и останется неудовлетворенным.

Он чувствовал себя безмерно усталым. Пожалуй, ему уже не удастся убрать из своей квартиры компрометирующие документы. Все кончится скверно. Они следуют за ним по пятам и уже не спустят с него глаз. Поздно. Да, слишком поздно что-либо сделать.

Издалека донеслось до него пыхтение поезда. У железнодорожной будки стояла женщина в красной косынке. Подходил поезд, медленный пассажирский поезд, из одного окна высовывался дядька с трубкой в руке и плевал. Потом раздался станционный звонок, и женщина в красной косынке, подойдя к шлагбаумам, принялась вертеть рукоятку. Шлагбаумы поднялись, и Мирек тронулся с места. Он въехал в деревню, состоявшую из одной бесконечной улицы, в конце которой был вокзал: маленький, низкий белый дом за деревянным забором, сквозь него просматривались платформа и

рельсы.

Окна вокзала украшены горшками с бегониями. Мирек останавливает машину. Он сидит за рулем и смотрит на это здание, на окно и красные цветочки. Из давно забытого прошлого выплывает образ другого белого дома, чьи подоконники алели цветами бегонии. Это маленькая гостиница в горной деревушке: время летних каникул. В окне среди цветов появляется большой нос. И двадцатилетний Мирек поднимает глаза на этот нос и испытывает безграничную любовь.

Его первый порыв – быстро нажать на газ и избавиться от этого воспоминания. Но на сей раз меня не проведешь: я снова подзываю это воспоминание, чтобы на какое-то время его удержать. Итак, повторяю: в окне среди бегоний Зденино лицо с огромным носом, и Мирек испытывает безграничную любовь.

Возможно ли это?

Да. А почему бы нет? Разве слабак не может испытывать к уродине истинную любовь?

Он рассказывает ей, как восстал против отца-мракобеса, она борется против интеллигентов, у обоих мозоли на задницах, они держатся за руки, ходят на собрания, стучат на сограждан, лгут и занимаются любовью. Она оплакивает смерть Мастурбова, он рычит как бешеный пес на ее теле, и один не может жить без другого.

Он стирал ее из альбома своей жизни не потому, что не любил ее, а потому, что любил. Он вымарал ее вместе со своей любовью к ней, он удалил ее, подобно тому как отдел партийной пропаганды удалил Клементиса с балкона, на котором Готвальд произносил свою историческую речь. Мирек такой же переписчик истории, как коммунистическая партия, как все политические партии, как все народы, как любой человек. Люди кричат, что хотят создать лучшее будущее, но это неправда. Будущее – это лишь равнодушная и никого не занимающая пустота, тогда как прошлое исполнено жизни, и его облик дразнит нас, возмущает, оскорбляет, и потому мы стремимся его уничтожить или перерисовать. Люди хотят быть властителями будущего лишь для того, чтобы изменить прошлое. Они борются за доступ в лабораторию, где ретушируются фотоснимки и переписываются биографии и сама история.

Как долго он стоял у этого вокзала?

И что означала эта остановка?

Она ничего не означала.

Он мгновенно вычеркнул это из памяти и тотчас забыл все о белом домике с бегониями. Он уже снова быстро пересекает местность и не оглядывается по сторонам. Простор мира снова всего лишь препятствие, тормозящее его деятельность.

Машина, от которой ему удалось оторваться, была припаркована у его дома. Оба мужчины стояли неподалеку.

Он остановился позади их машины и вышел. Они улыбались ему почти весело, словно бегство Мирека было всего лишь шуточной игрой, приятно всех позабавившей. Когда Мирек проходил мимо них, мужчина с толстой шеей и уложенными седыми волосами засмеялся и кивнул ему. Мирек почувствовал тревогу: это амикошонство обещало в дальнейшем еще более тесную связь между ними.

И глазом не моргнув, он вошел в дом. Своим ключом открыл дверь квартиры. Прежде всего он увидел сына: его взгляд выражал едва сдерживаемое волнение. Незнакомый мужчина в очках подошел к Миреку и предъявил ему удостоверение: – Вы хотите видеть ордер прокурора на домашний обыск?

– Да, – сказал Мирек.

В квартире были еще двое. Один стоял у письменного стола, на котором громоздились кипы бумаг, тетрадей и книг. Все эти вещи он брал поочередно в руки, а второй, сидевший за столом, записывал то, что диктовал ему первый.

Мужчина в очках вынул из нагрудного кармана сложенную бумагу и протянул Миреку: – Вот распоряжение прокурора, а там, – кивнул он в сторону тех двоих у стола, – гото-

вится для вас список конфискованных вещей.

На полу было разбросано множество бумаг, книг, двери шкафа были раскрыты, мебель отодвинута от стен.

Сын, наклонившись к Миреку, сказал: – Они пришли через пять минут после твоего отъезда.

Мужчины у письменного стола продолжали переписывать конфискованные вещи: письма друзей Мирека, документы, датированные первыми днями русской оккупации, заметки, анализирующие политическую обстановку, протоколы их собраний.

– Вы не слишком предусмотрительны по отношению к своим товарищам, – сказал мужчина в очках и кивнул на конфискованные вещи.

Те, что эмигрировали (их сто двадцать тысяч), те, кого заставили замолчать и выгнали с работы (их полмиллиона), исчезают, как удаляющаяся во мглу процессия, они невидимы и забыты.

Однако тюрьма, хотя и обнесена со всех сторон стенами, являет собой великолепно освещенную сцену истории.

Мирек это знает давно. Ореол тюрьмы весь последний год неодолимо привлекал его. Так, наверное, самоубийство мадам Бовари привлекало Флобера. Нет, роман своей жизни Мирек не мог бы представить себе с лучшим концом.

Они хотели стереть из памяти тысячи жизней и сохранить в ней лишь одно-единственное незапятнанное время незапятнанной идиллии. Но Мирек, как пятно, распластается во всю длину своего небольшого тела на их идиллии. Он останется на ней, как осталась шапка Клементиса на голове Готвальда.

Они дали Миреку подписать перечень конфискованных вещей, а затем попросили его вместе с сыном следовать за ними. После года предварительного заключения был суд. Мирека приговорили к шести годам лишения свободы, сына – к двум годам, а человек десять его друзей получили от года до шести лет тюрьмы.

Вторая часть. Мама

1

Было время, когда Маркета не любила своей свекрови. В те годы, проживая с Карелом в ее доме (свекор еще здоровствовал), она ежедневно натыкалась на ее сварливость и обидчивость. Они не смогли это долго выносить и переехали. *Как можно дальше от матери* – был их тогдашний девиз. Поселились они в городе, находившемся на противоположном конце страны, и потому им случалось видеться с родителями Карела не чаще раза в год.

Потом свекор внезапно умер, и мама осталась одна. Они встретились с ней на похоронах, смиренной, несчастной и показавшейся им меньше, чем была прежде. У них в голове вертелась одна и та же фраза: «мама, теперь ты не можешь оставаться одна, мы возьмем тебя к себе».

Фраза звучала в голове, но ни один из них так и не произнес ее вслух. Тем более что во время печальной прогулки на следующий день после похорон она, хоть и была все такой же несчастной и маленькой, пеняла им с неуместной, на их взгляд, агрессивностью на все грехи, когда-либо совершенные ими по отношению к ней. «Ее ничто никогда не изменит, – сказал Карел Маркете, когда они уже сидели в поез-

де. — Печально, но для меня непреложным останется одно — подальше от матери».

Однако шли годы, и если мама и вправду не изменилась, то, вероятно, изменилась Маркета: ей вдруг стало казаться, что все, чем когда-то свекровь оскорбляла ее, лишь невинные глупости, тогда как настоящие промахи допускала она, Маркета, придавая ее придиркам непомерное значение. Тогда она относилась к свекрови как ребенок к взрослому, но сейчас роли переменились. Маркета взрослая, а мама на таком большом расстоянии кажется ей маленькой и беззащитной, как ребенок. И Маркета, проявив к маме снисходительное терпение, стала с ней даже переписываться. Старая дама очень быстро привыкла к этому, отвечала аккуратно и, требуя от Маркеты все новых и новых писем, заявляла, что только они помогают ей переносить одиночество.

Фраза, родившаяся на похоронах отца, в последнее время все чаще звучала в их головах. И вновь именно сын укрощал доброту невестки, и посему вместо того, чтобы сказать ей: «Мама, мы возьмем тебя к себе», они пригласили ее погостить у них всего одну неделю.

Была Пасха, и их десятилетний сын отправлялся на школьные каникулы. В конце недели, в воскресенье, должна была приехать Ева. А всю неделю, кроме воскресенья, супруги готовы были провести с мамой. Они сказали ей: «Пробудешь у нас с субботы по субботу. На воскресенье у нас кое-что намечено. Едем в одно место». Ничего определенного

они ей не сказали, ибо не хотели слишком распространяться о Еве. Карел даже дважды повторил ей в трубку: «Пробудешь у нас с субботы по субботу. На воскресенье у нас кое-что намечено. Едем в одно место». И мама ответила: «Ладно, дети, вы очень добры, вы же знаете, я уеду, когда вы только пожелаете. Хоть ненадолго спасусь от своего одиночества».

Но в субботу вечером, когда Маркета попыталась уточнить, в какое время завтра утром они должны отвезти ее на вокзал, мама четко и прямо сказала, что уедет в понедельник. Маркета удивленно посмотрела на нее, но та стояла на своем: «Карел мне говорил, что на понедельник у вас кое-что намечено, что вы куда-то уезжаете, и потому в понедельник утром я должна убраться отсюда».

Естественно, Маркета могла сказать: «Мама, ты ошибаешься, мы едем уже завтра», но у нее не хватило духу. Да она и не сумела сразу сообразить, куда им завтра надо ехать. Поняв, что они как следует не продумали свою отговорку, она ничего не ответила и смирилась с тем, что мама останется у них и на воскресенье. Она успокоила себя мыслью, что комната мальчика, куда поселили маму, в другом конце коридора и что их планы не будут нарушены.

– Прошу тебя, не сердись, – уговаривала Маркета Карела. – Ты только погляди на нее. Такая бедняжка. Просто сердце сжимается при виде ее.

Карел безропотно пожал плечами. Маркета была права, мама действительно изменилась. Была всем довольна, за все благодарна. Карел напрасно поджидал минуту, когда они из-за чего-то столкнутся.

Однажды на прогулке она устремила взгляд вдаль и сказала: «Как называется эта хорошенькая белая деревенька?» Однако это была не деревенька, это были придорожные каменные тумбы. Карел опечалился, что у мамы столь ухудшилось зрение.

Но этот дефект зрения отражал нечто более существенное: то, что для них было большим, ей казалось маленьким, то, что для них было каменными тумбами, для нее – домами.

По правде говоря, эта черта была давно ей присуща. Только когда-то это раздражало их. Так, например, однажды в течение ночи их страну захватили танки соседнего государства. Это был такой шок, такой ужас, что долгое время никто ни о чем другом и думать не мог. Стоял август, в их саду созревали груши. Мама уже за неделю до этого пригласила пана аптекаря прийти собрать урожай. Но пан аптекарь не пришел и даже не извинился. Мама не могла простить ему это, и ее обида доводила Карела и Маркету до бешенства. Все думают о танках, а для тебя важны груши, укоряли они маму. Вскоре они уехали, убежденные в ее мелочности.

Но в самом ли деле танки важнее груш? С течением времени Карел начинал понимать, что ответ уж не столь очевиден, как ему всегда представлялось, и стал испытывать тайную симпатию к маминому видению перспективы, когда на переднем плане большая груша, а где-то далеко позади нее танк, маленький, как божья коровка, готовая в любую минуту взлететь и скрыться из глаз. О да, ведь мама права: танк смертен, а груша вечна.

Когда-то мама хотела знать о сыне все и сердилась, если он утаивал от нее хоть частицу своей жизни. Одним словом, на сей раз они хотели порадовать ее рассказами о том, что они делают, что произошло с ними, какие у них планы. Но вскоре они заметили, что мама слушает их больше из вежливости и на их рассказ отвечает репликами о своем пуделе, которого на время своего отсутствия оставила на попечение соседки.

Прежде он считал бы это эгоцентризмом или мелочностью, но сейчас он думал иначе. Прошло больше времени, чем им казалось. Мама отложила маршалский жезл своего материнства и ушла в другой мир. Как-то раз, когда они были с ней на прогулке, поднялся страшный ветер. Они держали маму с обеих сторон под руки и буквально несли ее, не то ветер сдул бы ее как перышко. Карел растроганно ощущал невесомость мамы, понимая, что она принадлежит к миру иных существ: более маленьких, легких, уносимых малейшим дуновением ветерка.

Ева приехала после обеда. На вокзал за ней отправилась Маркета, считая ее своей подругой. Приятельниц Карела она не любила. Но с Евой все было по-другому. Ведь она познакомилась с Евой раньше Карела.

Случилось это лет шесть назад. Они поехали с Карелом отдохнуть на воды. Маркета через день ходила в сауну. Однажды, когда она, обливаясь потом, сидела с другими дамами на деревянной скамье, в сауну вошла высокая обнаженная девушка. Они, хоть и не были знакомы, обменялись улыбками, и девушка тут же заговорила с Маркетой. Поскольку девушка была очень естественна, а Маркета – благодарна ей за проявленное дружелюбие, они быстро подружились.

Маркета была потрясена обаянием Евиной необычности: уже одно то, как она сразу заговорила с ней! Словно они заранее условились там встретиться! Ева вовсе не стала тратить время на общепринятую болтовню о том, что сауна – вещь полезная и что после нее ужасно хочется есть, а сразу же начала говорить о себе так, как это делают люди, завязывающие знакомство по объявлению и стремящиеся в первом же письме предельно кратко объяснить будущему партнеру, кто они и что собой представляют.

Стало быть, кто такая Ева, по словам самой же Евы? Ева веселый охотник за мужчинами. Но она охотится за ними не

ради замужества. Она охотится за ними так, как мужчины за женщинами. Любви для нее не существует. Для нее существует лишь дружба и чувственность. Оттого у нее много друзей: мужчины не боятся, что она хочет их захомутать, женщины же не боятся, что она не прочь отбить у них мужей. Впрочем, даже если когда-нибудь она и выйдет замуж, муж будет ее другом, которому она все позволит и ничего от него не потребует.

Сообщив все это Маркете, она объявила, что у Маркеты отличный *костяк*, а это качество очень ценное, поскольку, на ее, Евин, взгляд у редкой женщины действительно красивое тело. Этот комплимент слетел с ее уст так искренне, что порадовал Маркету больше любой мужской похвалы. Эта девушка просто вскружила Маркете голову. У нее было такое чувство, будто она вступила в царство искренности, и она условилась встретиться с Евой через день в то же время в сауне. Потом она познакомилась с ней Карела, но тот в этой дружбе навсегда остался фигурой второго плана.

– У нас мама Карела, – извинительным тоном проговорила Маркета, когда везла Еву с вокзала. – Представлю тебя как свою кузину. Думаю, это тебя не смутит.

– Напротив, – сказала Ева и попросила Маркету сообщить ей некоторые сведения о ее семье.

Мама никогда особенно не интересовалась родственниками снохи, но слова «кузина», «племянница», «тетя», «внучка» согревали ее сердце: это был добрый мир близких интимных понятий.

И вновь подтвердилось то, что она давно знала: ее сын – неисправимый чудак. Будто мама могла ему помешать встретиться здесь с родственницей! Она понимает, что им хочется поговорить между собой. Но чтобы ради этого выпроваживать ее на день раньше – не бессмыслица ли это? К счастью, она уже знает, как взять их в оборот. Она просто решила сделать вид, что перепутала день отъезда, а потом чуть ли не смеялась, наблюдая, как славная Маркета не в силах сказать ей, что она должна была уехать уже в воскресенье.

Да, приходится признать, что сейчас они вежливее, чем были когда-то. Прежде Карел безжалостно сказал бы ей, что она должна уехать. А этим маленьким обманом она, собственно, сослужила им вчера неплохую службу. По крайней мере, не придется им корить себя, что напрасно выгнали маму днем раньше в ее одиночество.

Впрочем, она очень рада, что познакомилась с новой родственницей. Это очень милая девушка. (Она ужасно кого-то напоминает ей. Но кого?) Целых два часа ей пришлось отвечать на ее вопросы. Как мама причесывалась в девичестве?

Носила косу. Ну конечно, это было еще во времена старой Австро-Венгрии. Вена была столицей. Мамина гимназия была чешской и мама – патриоткой. Ей захотелось спеть им несколько патриотических песен, которые тогда пели. Или почитать стихи! Несомненно, она еще помнит их наизусть. Сразу же после войны (ну конечно, после Первой мировой войны в 1918 году, когда возникла Чехословацкая республика, бог мой, эта кузина даже не знает, когда возникла республика!) мама читала стихотворение на торжественном собрании в школе. Праздновали падение Австрийской империи. Праздновали независимость! И вдруг, представьте себе, когда она дошла до последней строфы, у нее потемнело в глазах, и она не могла вспомнить эту строфу. Она стояла и молчала, лоб покрылся испариной, ей казалось, что от стыда она провалится сквозь землю. Но вдруг, совершенно неожиданно, раздались бурные аплодисменты! Все думали, что стихотворение кончилось, никто так и не заметил, что недостает заключительной строфы! Но мама все равно была в отчаянии, ей было так стыдно, что она скрылась в туалете, заперлась там, и самому пану директору, прибежавшему за ней, пришлось долго стучать в дверь и умолять ее не плакать и выйти оттуда: ведь у нее огромный успех!

Кузина смеялась, а мама долго не сводила с нее глаз: – Вы мне кого-то напоминаете, боже, кого вы мне напоминаете... – Но после войны ты уже не ходила в школу, – заметил Карел.

– Мне лучше знать, когда я ходила в школу, – сказала мама.

– Ты получила аттестат зрелости в последний год войны. Мы тогда были еще в составе Австро-Венгрии.

– Я прекрасно знаю, когда я получила аттестат, – рассердилась мама. Но уже в ту минуту она поняла, что Карел не ошибается. В самом деле, она кончила школу во время войны. Так откуда же возникло это воспоминание о торжественном вечере после войны? Мама вдруг почувствовала себя неуверенно и замолчала.

И в этой короткой тишине раздался голос Маркеты. Она обратилась к Еве, и ее слова не имели никакого отношения ни к маминой декламации, ни к 1918 году.

Мама, преданная неожиданным равнодушием и провалом собственной памяти, чувствует себя одинокой в своих воспоминаниях.

– Развлекайтесь, дети, вы молоды, у вас есть о чем потолковать, – говорит она и, переполненная внезапным неудобством, удаляется в комнату внука.

С растроганной симпатией смотрел Карел на Еву, задававшую маме вопрос за вопросом. Он знает ее уже десять лет, и она всегда была такой. Непосредственной и смелой. Он познакомился с ней (тогда он жил с Маркетой еще у своих родителей) почти так же быстро, как несколькими годами позже познакомилась с ней его жена. Однажды в своей конторе он получил письмо от незнакомой девушки. Она писала, что знает его только по внешнему виду, но решила написать ему, поскольку никакие условности для нее ровным счетом ничего не значат, ежели мужчина ей нравится. В данном случае ей нравится Карел, а она женщина-охотник. Охотник за незабываемыми ощущениями. И признает она не любовь, а лишь дружбу и чувственность. В конверт была вложена фотография обнаженной девушки в вызывающей позе.

Поначалу Карел решил не отвечать, предполагая, что за этим стоит просто розыгрыш. Но в конечном счете он не устоял и, написав девушке по указанному адресу, пригласил ее в квартиру своего друга. Ева пришла: высокая, худая, плохо одетая. Она походила на долговязого подростка, одетого в бабушкино платье. Усевшись напротив Карела, она стала выкладывать ему, что условности для нее ровно ничего не значат, если какой-нибудь мужчина ей нравится. И что признает она только дружбу и чувственность. На ее лице прочи-

тывались смущенность и напряжение, и Карел испытывал к ней скорее какое-то братское сочувствие, чем желание. Но потом подумал, что грех упускать любую возможность.

– Замечательно, – подбодрил он ее, – когда встречаются два охотника.

Это были первые слова, которыми Карел нарушил торопливое девичье признание, и Ева тотчас оживилась, сбросив с себя бремя ситуации, которое она почти четверть часа героически несла в одиночку.

Он сказал ей, что она красива на присланной ему фотографии, и спросил (провоцирующим голосом охотника), возбуждает ли ее показываться обнаженной.

– Я эксгибиционистка, – сказала она таким же тоном, как если бы признавалась, что она баскетболистка.

Он сказал, что не прочь бы это увидеть.

Облегченно выпрямившись, она спросила, есть ли в квартире проигрыватель.

Да, проигрыватель был, но у друга имелась лишь классическая музыка, Бах, Вивальди, оперы Вагнера. Карел счел бы странным, начини девушка раздеваться под арию Изольды. Ева тоже была недовольна пластинками. «Нет ли здесь какой-нибудь поп-музыки?» Нет, поп-музыки здесь не было. Делать нечего, в конце концов ему пришлось поставить фортепианную сюиту Баха. Он сел в угол комнаты для лучшего обзора.

Ева попыталась двигаться в ритме мелодии, но спустя ми-

нуту-другую объявила, что под эту музыку ничего не получается.

– Раздевайся и не болтай, – прикрикнул он строго.

Божественная музыка Баха наполнила комнату, и Ева послушно продолжала крутить бедрами. Под музыку, столь нетанцевальную, она двигалась ужасно напряженно, и Карелу подумалось, что путь от ее первого движения, когда она отбросила кофточку, и до последнего, когда отбросила трусики, должен представляться ей бесконечным. В комнате звучало фортепьяно, Ева кружилась в танце, постепенно сбрасывая на пол предметы своей одежды. На Карела она ни разу даже не взглянула. Сосредоточенная на себе и на своих движениях, она походила на скрипачку, которая играет наизусть сложное сочинение и боится отвлечься, кинув взгляд в публику. Раздевшись донага, она повернулась к стене, уткнулась в нее лбом и просунула руку между бедрами. Карел мгновенно тоже разделся и с упоением наблюдал подрагивавшую спину мастурбирующей девушки. Это было восхитительно, и вполне понятно, что с тех пор он никогда не давал Еву в обиду.

Впрочем, она была единственной женщиной, которую не раздражала любовь Карела к Маркете. «Твоя жена должна понять, что ты ее любишь, но что ты охотник и эта охота не угрожает ей. Хотя все равно ни одна женщина этого не поймет. Нет, ни одна женщина не поймет мужчину», – добавила она грустно, будто сама была этим непонятым мужчиной.

Потом она предложила Карелу сделать все, чтобы помочь ему.

Комната внука, куда мама ретировалась, была удалена от гостиной едва на шесть метров и отделена лишь двумя тонкими стенами. Мамина тень была постоянно с ними, и Маркета чувствовала себя стесненно.

К счастью, Ева не закрывала рта. С тех пор как они не виделись, произошло многое: она переехала в другой город и, главное, вышла там замуж за умного пожилого человека, обретшего в ней независимую подругу, ибо, насколько нам известно, Ева обладает великим даром дружбы, тогда как любовь с ее эгоизмом и истеричностью не признает вовсе.

Кроме того, она перешла на другую работу. Жалованье приличное, но дел неупрочен. Завтра утром ей надо быть там.

– Что? Когда же ты собираешься уехать? – ужаснулась Маркета.

– В пять утра идет скорый.

– Господи, Евочка, тебе придется вставать в четыре! Кошмар! – И тут она почувствовала если не злость, то какую-то горечь, что мама Карела осталась у них. Ведь Ева живет далеко, у нее мало времени, и все же она выкроила это воскресенье для Маркеты, которая теперь не может уделить ей столько внимания, сколько хотелось бы, ибо здесь постоянно маячит призрак мамы Карела.

У Маркеты испортилось настроение, а так как беда не ходит одна, тут еще зазвонил телефон. Карел поднял трубку. Его голос звучал неуверенно, ответы были подозрительно лаконичны и многозначительны. Маркете казалось, что он выбирает слова осторожно, чтобы скрыть смысл своих фраз. Она не сомневалась, что он назначает свидание какой-то женщине.

— Кто это был? — спросила она. Карел ответил, что коллега из соседнего города собирается приехать на следующей неделе и обсудить с ним кой-какие дела. С этой минуты Маркета не проронила ни слова.

Была ли она так ревнива?

Несколько лет назад, в первый период их любви, несомненно, была. Но шли годы, и то, что сегодня она воспринимает как ревность, скорее просто привычка.

Скажем об этом еще иначе: всякая любовная связь основывается на неписаном соглашении, которое любовники необдуманно заключают в первые недели любви. Они еще витают в облаках, но одновременно, даже не сознавая того, составляют, точно неуступчивые юристы, подробные условия договора. О, любовники, будьте осмотрительны в эти опасные первые дни! Если станете приносить своему партнеру завтрак в постель, вам придется делать это вечно, а не то вас обвинят в нелюбви и измене!

Уже в первые недели между Карелом и Маркетой было договорено, что Карел будет неверен, и Маркета с этим сми-

рится, но зато Маркета получит право быть лучшей, а Карел будет чувствовать себя перед ней виноватым. Никто не знал так хорошо, как Маркета, до чего печально быть лучшей. Она была лучшей только потому, что ничего лучшего ей не было дано.

Конечно, в глубине души Маркета понимала, что этот телефонный разговор сам по себе ничтожен, но дело было не в том, каким *был* этот разговор, а что он собой *представлял*. С красноречивой лаконичностью он выражал всю суть ее жизни: она делает все ради Карела и для Карела. Она заботится о его матери. Она знакомит его со своей лучшей подругой. Она дарит ему ее. Исключительно ради него и его удовольствия. А почему она все это делает? Почему старается? Почему, точно Сизиф, толкает в гору свой камень? Но что бы она ни делала, душой Карел не с ней. Он договаривается о встрече с другой женщиной и постоянно от нее ускользает.

В гимназии она была неуправляема, неугомонна, даже излишне полна жизни. Старый учитель математики любил подшучивать над ней: «За вами, Маркета, никому не уследить! Заранее сочувствую вашему мужу!» Она горделиво смеялась, эти слова звучали для нее счастливым предсказанием. А потом вдруг, неведомо как, вопреки ее ожиданию, вопреки ее воле и вкусу выпала ей совершенно иная роль. А все потому, что она была недостаточно предусмотрительна в ту самую неделю, когда так безотчетно составляла договор.

Ее уже не забавляет – всегда быть лучшей. Все годы су-

прудства вдруг навалились на нее тяжким грузом.

Маркета все больше мрачнела, и лицо Карела исказилось гневом. Еву охватила паника. Она чувствовала себя ответственной за их супружеское счастье и потому старалась чрезмерной разговорчивостью рассеять сгустившиеся в комнате тучи.

Но это было свыше ее сил. Карел, раздраженный столь очевидной на сей раз несправедливостью, упорно молчал. Маркета, чувствуя себя не способной ни совладать со своей горечью, ни вынести гнева мужа, удалилась в кухню.

Ева тем временем пыталась убедить Карела не портить вечер, о котором они так долго мечтали. Но Карел был неумолим: «Однажды наступает минута, когда уже невозможно выдержать. Я устал! Меня все время в чем-то обвиняют. Мне надоело чувствовать себя все время виноватым! Из-за такой ерунды! Из-за такой ерунды! Нет, нет. Я не могу ее видеть. С меня довольно!» Он продолжал твердить одно и то же, и умоляющие уговоры Евы даже не хотел слушать.

В конце концов она оставила его одного и пошла к Маркете, которая, притаившись в кухне, понимала: случилось то, что не должно было случиться. Ева пыталась доказать ей, что этот телефонный звонок отнюдь не оправдывает ее подозрения. Маркета, в глубине души сознавая, что на этот раз она не права, отвечала: «А если я уже не могу больше. Все вре-

мя одно и то же. Год за годом, месяц за месяцем, все время одни женщины и одно вранье. Я уже устала. Устала. С меня довольно!»

Ева поняла, что ни с одним из супругов ей не договориться. И она решила, что тот туманный замысел, с которым она сюда приехала и в порядочности которого поначалу сомневалась, был правилен. Если она призвана помочь им, то не должна бояться действовать по своему усмотрению. Эти двое любят друг друга, но нуждаются в том, чтобы кто-то снял с них бремя, которое они несут. Чтобы освободил их. Поэтому план, с которым она сюда приехала, касался не только ее собственных интересов (да, несомненно, прежде всего он касался ее интересов, и именно это отчасти мучило ее, ибо в отношении своих друзей она никогда не хотела быть эгоисткой), но и интересов Маркеты и Карела.

– Что мне делать? – спросила Маркета.

– Ступай к нему. Скажи, что не сердишься.

– Но я не могу его видеть. С меня довольно!

– Тогда опусти глаза. Это будет еще трогательнее.

Вечер спасен. Маркета торжественно достает бутылку и подает ее Карелу, чтобы он откупорил ее величественным жестом стартера, открывающего на Олимпиаде заключительный забег. Вино струится в три бокала, и Ева виляющей походкой идет к проигрывателю, выбирает пластинку и затем, уже под звуки музыки (на сей раз это не Бах, а Дюк Эллингтон) продолжает кружить по комнате.

– Как по-твоему, мама уже спит? – спрашивает Маркета.

– Пожалуй, было бы разумнее пожелать ей покойной ночи, – советует Карел.

– Если пойти пожелать ей покойной ночи, она снова разговорится, и еще один час насмарку. Ты же знаешь, Еве очень рано вставать.

Маркета считает, что сегодня они и так потеряли уйму времени. Она берет подругу за руку и вместо того, чтобы отправиться к маме, уходит с ней в ванную комнату.

Карел остается в комнате один на один с музыкой Эллингтона. Он счастлив, что тучи ссоры рассеялись, но от предстоящего вечера уже ничего не ждет. Эта ничтожная история с телефоном вдруг открыла ему то, в чем он долго отказывался признаться себе: он устал и ему ничего больше не хочется.

Много лет назад Маркета принудила его заниматься любовью втроем, с ней и любовницей, к которой ревновала его.

Тогда это предложение возбудило Карела до головокружения! Но особой радости тот вечер ему не принес. Напротив, это было чудовищное напряжение! Обе женщины перед ним целовались и обнимались, но ни на мгновение не переставали быть соперницами, пристально наблюдавшими, к кому из них он внимательнее и с кем нежнее. Он осторожно взвешивал каждое слово, отмерял каждое прикосновение и больше, чем любовником, был дипломатом, мучительно-предупредительным, заботливым, порядочным и справедливым. И все равно сплховал. В какую-то минуту посреди любовного акта расплакалась любовница, затем в глубокое молчание погрузилась Маркета.

Если бы он мог поверить, что Маркета нуждалась в их маленьких оргиях из чистой чувственности – как худшая из них двоих, – они наверняка радовали бы его. Но поскольку уже с самого начала было установлено, что этим худшим будет он, в беспутстве Маркеты он видел лишь ее болезненную жертвенность, ее благородное стремление соответствовать его полигамным наклонностям и превратить их в живительную силу их супружеского счастья. Он постоянно угнетен видом ее ревности, этой раны, которую он обнаружил в первые же годы их любви. Когда он видел Маркету в объятиях другой женщины, ему хотелось упасть перед ней на колени и вымолить прощение.

Но разве беспутные игры – упражнение в раскаянии?

И однажды его осенила мысль: уж коли любовь втроем

призвана быть чем-то веселым, у Маркеты не должно быть ощущения, что она встречается со своей соперницей. Ей надо привести к ним свою подругу, которая не знает Карела и не интересуется им. Поэтому он и придумал эту хитрую встречу Маркеты с Евой в сауне. План удался: обе женщины стали подругами, союзницами, заговорщицами, которые насильовали его, играли с ним, проезжались по его адресу и вместе мечтали о нем. Карел надеялся, что Еве удастся вытеснить болезненность любви из сознания Маркеты и он наконец обретет свободу и перестанет быть обвиняемым.

Но сейчас он убеждается в том, что установленное годы назад уже никак нельзя изменить. Маркета остается все той же, прежней, а он – вечно обвиняемым.

Почему же, однако, он познакомил Еву с Маркетой? Почему он обладал ими обеими? Ради кого он все это затеял? Любой другой уже давно сделал бы Маркету веселой, чувственной и счастливой. Любой, кроме Карела. Он казался себе Сизифом.

В самом ли деле Сизифом? Разве не Маркета только что сравнивала себя с Сизифом?

Да, за эти годы супруги стали близнецами, у них один и тот же словарь, одни и те же фантазии, одна и та же участь. Они оба дарили друг другу Еву, чтобы сделать партнера счастливым. Им обоим казалось, что они катят в гору камень. И оба устали.

Из ванной до Карела доносился звук плещущейся воды и

смех обеих женщин, и тут он осознал, что ему никогда не удавалось жить так, как хотел, иметь женщин, которых хотел, и иметь их так, как хотел их иметь. Он мечтал убежать куда-нибудь, где он мог бы соткать собственную историю, один, по-своему и без пригляда любящих глаз.

Впрочем, он даже не стремился к тому, чтобы соткать какую-либо историю, он просто хотел быть один.

Опрометчиво было со стороны Маркеты, не очень прозорливой в своем нетерпении, не пойти пожелать маме покойной ночи и считать, что та уже спит. За время пребывания у сына мысли мамы необыкновенно оживились, а нынешним вечером и вовсе стали непоседливыми. Причиной тому была эта симпатичная родственница, упорно напоминавшая ей кого-то из ее молодости. Только кого она напоминает ей?

Наконец она все-таки вспомнила: Нора! Да, точно такая же фигура, такая же манера держать стан, вышагивая по свету на красивых длинных ногах.

Норе не хватало нежности и скромности, и мама часто бывала уязвлена ее поведением. Но сейчас она об этом не думает. Куда важнее для нее то, что здесь неожиданно она нашла обломок своей молодости, привет из полувековой давности. Она рада, что все когда-то ею прожитое постоянно с ней, окружает ее в одиночестве, говорит с нею. Пусть Нору она никогда не любила, теперь она радуется тому, что встретила ее здесь, да при этом еще совершенно покорную, воплотившуюся в ту, что к ней столь почтительна.

Сразу, как только это осенило ее, она собралась было бежать к ним. Но совладала с собой, памятуя о том, что сегодня она здесь лишь благодаря хитрости и что эти двое безумцев хотели остаться со своей родственницей без посторон-

них. Ну что ж, пусть вволю насекрытничаются! Здесь, в комнате внука, ей нисколько не скучно. Тут вязанье, книги, а главное, есть о чем поразмыслить. Карел задурил ей голову. Да, он прав был, она кончила гимназию еще во время войны. Спутала даты. Вся эта история с декламацией, когда она забыла последнюю строфу, произошла по меньшей мере на пять лет раньше. Пан директор действительно стучал в дверь туалета, где она заперлась, обливаясь слезами. Только ей тогда было лет тринадцать, не больше, и это был школьный праздник перед Рождеством. На сцене стояла украшенная елочка. Дети пели колядки, а потом она читала стихотворение. Перед последней строфой потемнело в глазах, и она не смогла продолжать.

Маме стыдно за свою память. Что сказать Карелу? Признаться, что ошиблась? Все равно они считают ее уже старушкой. Они очень ласковы с ней, в самом деле, но от мамы не ускользает и то, что они относятся к ней как к ребенку, с какой-то снисходительностью, которая не по душе ей. Признай она правоту Карела и скажи, что детский рождественский праздник спутала с политическим собранием, они снова выросли бы на несколько сантиметров, а она почувствовала бы себя еще меньше. Ну уж нет, такой радости она им не доставит.

Просто скажет им, что на том празднике после войны она действительно декламировала. Хотя к тому времени она уже получила аттестат зрелости, но пан директор помнил свою

бывшую ученицу и, считая ее лучшей декламаторшей, пригласил прийти и прочесть стихотворение. Это была огромная честь! Но мама заслужила ее! Она была большая патриотка! Они ведь и понятия не имеют, каково было, когда после войны распалась Австро-Венгрия! Вот это радость! А сколько песен, флагов! И снова ее охватило неудержимое желание побежать к сыну и снохе и рассказать им о мире своей юности.

Впрочем, теперь она чувствовала себя почти обязанной пойти к ним. Конечно, и то правда, что она обещала им не мешать, но ведь это только половина правды. Вторая ее половина в том, что Карел не понимал, как она могла после войны декламировать на торжественном собрании гимназии. Мама – старая женщина, память ей уже не служит, как прежде, поэтому-то она и не сумела сразу объяснить это сыну, но теперь, когда она наконец вспомнила, как все было на самом деле, она не может пропустить его вопрос мимо ушей. Как-то даже неловко. Она пойдет к ним (кстати, о чем таком важном они могут беседовать?) и попросит извинения: она вовсе не хочет мешать им и определенно не пришла бы сюда, не спроси ее Карел, как это она могла декламировать на торжественном собрании гимназии, если к тому времени уже ее кончила.

Тут она услышала, как кто-то открывает и закрывает дверь. Приложила ухо к стене. Послышались два женских голоса, и дверь снова открылась. Потом раздался смех и пуск воды. Она подумала, что обе девушки, видно, готовятся ко

сну. Сейчас самое время, если она хочет еще немного поболтать со всеми тремя.

Мамино возвращение – это была рука, которую с улыбкой протягивал Карелу некий веселый бог. Чем неуместнее оно было, тем удачнее получилось. Ей и не понадобилось извиняться, Карел тут же засыпал ее участливыми вопросами: что она делала всю вторую половину дня, не было ли ей грустно и почему она не заглянула к ним.

Мама стала объяснять ему, что у молодых людей всегда находится уйма тем для разговоров и старый человек должен понимать это и не мешать им.

Но тут вдруг послышалось, как в дверь врываются обе громко болтающие девушки. Первой была Ева, одетая в синюю рубашку, доходившую ровно до того места, где кончался черный пушок треугольника. Увидев маму, Ева испугалась, но дать задний ход уже не успела, пришлось улыбнуться маме и пройти дальше по комнате к креслу, в котором она попыталась быстро спрятать свою едва прикрытую наготу.

Карел знал, что за Евой следует Маркета, которая наверняка будет в вечернем туалете, а это на их общем языке означало, что на шее у нее будут только бусы, а талия опоясана красной лентой. Он сознавал, что необходимо что-то сделать, чтобы помешать ее приходу и избавить маму от шока. Но что он мог сделать? Разве только крикнуть «Не входи сюда»? Или «Быстро оденься, здесь мама»? Возможно, нашел-

ся бы и более ловкий способ задержать Маркету, но у Карела на раздумье было не более одной-двух минут, в течение которых ему вообще ничего не пришло в голову. Напротив, его наполнила какая-то восторженная вялость, лишавшая его присутствия духа. И потому он не сделал ничего. Маркета появилась на пороге комнаты действительно нагая: лишь бусы обвивали ее шею, а лента – талию.

И как раз в эту минуту мама, повернувшись к Еве, сказала с очень вежливой улыбкой: «Вы, верно, собираетесь спать, а я здесь вас задерживаю». Ева, видя Маркету краем глаза, сказала «нет» или почти выкрикнула это «нет», словно хотела своим голосом прикрыть тело подруги, которая наконец-то опомнилась и отступила в переднюю.

Когда спустя минуту она вернулась уже одетая в длинный пеньюар, мама снова повторила только что сказанное Еве: – Маркета, я задерживаю вас здесь, вы, наверное, хотите спать.

Маркета уже готова была согласиться с ней, но Карел весело покачал головой: «Что ты, мама, мы рады, что ты здесь с нами». И так мама наконец получила возможность рассказать им, как обстояло дело с декламацией на торжественном собрании после Первой мировой войны, когда распалась Австро-Венгрия и пан директор пригласил бывшую ученицу гимназии прийти прочитать патриотическое стихотворение.

Обе молодые женщины не понимали, о чем мама рассказывает, но Карел слушал ее с интересом. Я хочу уточнить это утверждение: история о забытой строфе его нисколько не

интересовала. Он слышал ее много раз и столько же раз забывал о ней. То, что вызывало у него интерес, была не история, рассказанная мамой, а мама, рассказывавшая историю. Мама и ее мир, подобный большой груше, на который уселся русский танк, как божья коровка. Дверь туалета, в которую стучится доброжелательный кулак пана директора, выступала на первый план, и жадная нетерпеливость обеих молодых женщин была за ней едва различима.

Карелу это очень нравилось. С наслаждением он смотрел на Еву и на Маркету. Их нагота нетерпеливо трепетала под рубашкой одной и пеньюаром другой. С растущим удовольствием он задавал вопрос за вопросом о пане директоре, о гимназии, о Первой мировой войне и в конце концов попросил маму прочесть им патриотическое стихотворение, последнюю строфу которого она забыла.

Мама задумалась, а потом очень сосредоточенно начала читать стихотворение, с которым выступала на школьном вечере, когда ей было тринадцать. Нет, это было не то патриотическое стихотворение, а стишки о рождественской елке и вифлеемской звезде, но этой детали никто не заметил, даже сама мама. Она думала лишь о том, вспомнит ли последнее четверостишие. И она вспомнила. Светила вифлеемская звезда, и три короля дошли до ясель. Она была взбудоражена этим успехом, смеялась и, гордясь собой, качала головой.

Ева начала аплодировать. Мама, посмотрев на нее, вдруг вспомнила о том главном, о чем хотела сказать им: – Знаешь,

Карел, кого мне напоминает ваша кузина? Нору!

Карел поглядел на Еву и не мог поверить своим ушам: – Нору? Пани Нору?

Со времен своего детства он хорошо помнил мамину подругу. Это была ослепительно-красивая женщина, высокая, с великолепным лицом повелительницы. Карел не любил ее, неприступную гордячку, но при этом не мог оторвать от нее глаз. Черт подери, какое сходство между нею и веселой Евой?

– Вот именно, – продолжала мама, – Нора! Ты только посмотри на нее! Та же высокая фигура! И та же походка! И лицо!

– Встань, Ева, – сказал Карел.

Ева боялась встать: была не уверена, достаточно ли прикрывает короткая рубашка ее самое сокровенное место! Но Карел был так настойчив, что ей пришлось в конце концов подчиниться. Она встала и, опустив руки по швам, неприменно старалась оттянуть рубашку вниз. Карел стал пристально вглядываться в нее, и вдруг ему и впрямь показалось, что она похожа на Нору. Сходство было отдаленным, едва уловимым, обнаруживаясь лишь в коротких, тотчас меркнувших, взблесках, но Карел стремился удержать их как можно дольше, мечтая непрерывно видеть в Еве красивую Нору.

– Повернись спиной, – приказал он.

Ева не хотела поворачиваться, ни на минуту не забывая о своей наготе под рубашкой. Но Карел продолжал настаивать, хотя теперь возражала и мама: – Не станешь же ты муштровать барышню, точно солдата!

– Нет, нет, я хочу, чтобы она повернулась спиной, – настаивал на своем Карел, и Ева наконец послушалась.

Не следует забывать, что мама очень плохо видела. Придорожные каменные тумбы казались ей деревенькой, Ева сливалась с образом пани Норы. Но если прищурить глаза, Карел тоже мог бы принять тумбы за домики. Разве не завидовал он всю эту неделю маминому видению перспективы? Вот и сейчас он прищуривал глаза и видел перед собой вместо Евы давнюю красавицу. О ней хранил он незабываемое и тайное воспоминание. Ему было около четырех лет, он с мамой и пани Норой находился на каком-то курорте (он и понятия не имеет, где это было), и однажды ему пришлось их ждать в пустой раздевалке. Он терпеливо, в одиночестве, стоял там среди висевшей женской одежды. Вскоре в помещение вошла высокая, прекрасная, нагая женщина и, повернувшись к ребенку спиной, потянулась к стенной вешалке, где висел ее купальный халат. Это была Нора.

Образ этого напряженно вытянутого нагого тела, увиденного им со спины, так никогда и не рассеялся в его памяти. Он был маленький и смотрел на это тело снизу вверх, как если бы сейчас смотрел на пятиметровую статую. Он был

рядом с этим телом и одновременно бесконечно удален от него. Удален вдвойне. Удален в пространстве и во времени. Это тело вздымалось над ним куда-то далеко ввысь и было отделено необозримым множеством лет. Эта двойная даль вызвала у четырехлетнего мальчика головокружение. И сейчас он почувствовал его вновь с непомерной силой.

Он смотрел на Еву (она все время стояла к нему спиной) и видел пани Нору. Он был удален от нее на два метра и на одну-две минуты.

– Мама, – сказал он, – ты прекрасно поступила, что пришла поболтать с нами. Но девушки уже хотят спать.

Мама скромно и послушно ушла, и он тотчас стал рассказывать обеим женщинам, что сохранила его память о пани Норе. Он присел на корточки перед Евой и снова повернул ее к себе спиной, чтобы глазами пройтись по следам давнишнего мальчишеского взгляда.

Усталость как рукой сняло. Он повалил ее на пол. Она лежала на животе, он стоял на коленях у ее пяток, скользя взглядом по ее ногам к ягодицам, а потом бросился на нее и овладел ею.

У него создалось ощущение, будто этот прыжок на ее тело не иначе как прыжок через необозримое время, прыжок мальчика, который бросается из возраста детства в возраст мужчины. И потом, когда он двигался на ней, вперед и назад, ему казалось, что он проделывает все то же движение из детства в зрелость и обратно, движение от мальчика, беспомощ-

но взирающего на огромное женское тело, к мужчине, который это тело сжимает и укрощает. Это движение, обычно измеряемое едва ли пятнадцатью сантиметрами, было длиной в три десятилетия.

Обе женщины приспособились к его буйству, и он вскоре перешел от пани Нору к Маркете и потом снова к пани Норе и снова в том же порядке. Продолжалось это слишком долго, и ему пришлось сделать небольшую паузу. Это было прекрасно, он чувствовал себя сильным, как никогда прежде. Опустившись в кресло, он не сводил глаз с двух женщин, лежавших перед ним на широкой тахте. В этот короткий миг передышки он видел перед собой не пани Нору, а своих двух подруг, свидетельниц его жизни, Маркету и Еву, и представлял себя великим шахматистом, только что одолевшим соперников на двух шахматных досках. Это сравнение ему настолько понравилось, что, не сумев сдержаться, он высказал его вслух: – Я Бобби Фишер! Я Бобби Фишер! – смеясь выкрикивал он.

В то время как Карел выкрикивал, что он Бобби Фишер (примерно в это время тот выиграл в Исландии чемпионат мира по шахматам), Ева и Маркета лежали на тахте, прижавшись друг к другу, и Ева шепнула подруге на ухо: – Договорились?

Маркета ответила: «Договорились», – и крепко прильнула губами к ее губам.

Когда они час назад были одни в ванной комнате, Ева попросила ее (это был тот план, с которым она и приехала сюда) как-нибудь нанести ей ответный визит. Она с радостью пригласила бы ее вместе с Карелом, но Карел и муж Евы ревнивы и ни один из них не выдержит присутствия другого.

Сначала Маркете показалось невозможным согласиться с этим предложением, но она смолчала и лишь засмеялась. Однако чуть позже, уже в комнате, где болтовня мамы Карела едва касалась ее слуха, идея Евы сделалась вдруг столь навязчивой, сколь неприемлемой показалась в первую минуту. Призрак Евиного мужа был с ними.

А когда Карел стал твердить, что он четырехлетний мальчик, и, присев на корточки, уставился снизу на стоявшую Еву, ей почудилось, будто он и вправду преобразился в четырехлетнего, будто он бежал от нее в свое детство, оставив их здесь вдвоем с его немыслимо неутомимым телом, таким

механически мощным, что казалось безличным, опустошенным и готовым вместить в себя любую душу, какую только можно придумать. Пусть даже душу Евиного мужа, этого совершенно незнакомого человека, без лица и облика.

Маркета давала этому механическому мужскому телу любить себя, затем смотрела, как это тело бросает себя между ног Евы, но старалась не видеть лица и думать, что это тело незнакомца. Это был бал масок. Карел надел на Еву маску Норы, на себя маску ребенка, а Маркета сняла голову с его тела. Это было тело мужчины без головы. Карел исчез, и случилось чудо: Маркета была свободна и весела!

Хочу ли я тем самым подтвердить подозрение Карела, полагавшего, что их маленькие домашние оргии были до сих пор для Маркеты всего лишь жертвенностью и страданием?

Нет, это было бы излишним упрощением. Маркета действительно мечтала, телом и чувствами, о женщинах, которых считала любовницами Карела. И даже головой мечтала о них: следуя пророчеству старого учителя математики, она хотела – по крайней мере в границах злосчастного договора – быть предприимчивой, шаловливой и поражать Карела.

Но когда она оказалась с ними нагой на широкой тахте, чувственные фантазии стали улетучиваться из головы, и один лишь вид мужа постепенно возвращал ее назад в роль, в роль той, кто лучше и кому причиняют боль. И хотя она была с Евой, которую любила и к которой не ревновала, присутствие слишком любимого мужчины тяжело угнетало ее и

приглушало наслаждение чувств.

В тот момент, когда она сняла голову с его тела, она ощутила незнакомое и пьянящее прикосновение свободы. Анонимность тел была внезапно обретенным раем. С удивительной радостью она изгоняла из себя свою израненную и чересчур бдительную душу и превращалась просто в тело без прошлого и без памяти, но тем более восприимчивое и жадное. Она нежно гладила Евино лицо, в то время как тело без головы мощно двигалось на ней.

Но потом вдруг безглавое тело прекратило свои движения, и голосом, неприятно напоминавшим Карела, произнесло невероятно дурацкую фразу: – Я Бобби Фишер! Я Бобби Фишер!

Было так, словно будильник вырвал ее из сновидения. И в эту самую минуту она прижалась к Еве (как проснувшийся соня льнет к подушке, пытаясь скрыться от хмурого света дня), и Ева спросила ее: «Договорились?», и она, согласнo кивнув, прильнула к ней губами. Маркета всегда любила Еву, но сегодня впервые она любила ее всеми своими чувствами, за ее самое, за ее тело, за ее кожу и была опьянена этой телесной любовью, как неожиданным откровением.

Потом они лежали на животе рядом с чуть поднятыми задиками, и Маркета чувствовала кожей, как это безмерно мощное тело уже снова вливается в них глазами и вот-вот займется с ними любовью. Она стремилась не слышать голоса, который твердил, что видит красивую пани Нору. Стре-

милась быть лишь неслышащим телом, которое жметя к сладкой подруге и к некоему мужчине без головы.

Когда все кончилось, ее подруга уснула в одно мгновение. Маркета позавидовала ее животному сну, ей хотелось вдыхать его из ее уст, хотелось уснуть в его ритме. Прижавшись к ней, она закрыла глаза, чтобы обхитрить Карела: решив, что обе женщины уснули, он пошел лечь в соседнюю комнату.

В половине пятого утра она открыла дверь в его спальню. Сквозь сон он посмотрел на нее.

– Спи, я позабочусь о Еве сама, – сказала она и нежно поцеловала его. Он, повернувшись на другой бок, тотчас снова заснул.

В машине Ева опять спросила ее: – Договорились?

Маркета уже не была столь решительна, как вчера. Да, она хотела бы перешагнуть это старое неписаное соглашение. Да, она хотела бы перестать быть лучшей. Но как это сделать, не уничтожив любви? Как это сделать, если она так бесконечно любит Карела?

– Не беспокойся, – сказала Ева, – он ни о чем не догадается. У вас уж так повелось: это ты подозреваешь, не он. Тебе не надо бояться, что ему вообще придет что-то в голову.

Ева подремывает в тряском купе, Маркета, вернувшись с вокзала, уже снова спит (через час ей встать и собираться на работу), и сейчас очередь Карела отвезить маму к поезду. Это день поездов. Через несколько часов (но тогда супруги будут уже на работе) выйдет на перрон их сын, чтобы поставить последнюю точку в этой истории.

Карел еще полон красоты этой ночи. Он хорошо знает, что из двух или трех тысяч любовных встреч (сколько, собственно, раз в жизни он занимался любовью?) лишь две-три окажутся поистине значительными и незабываемыми, в то время как остальные всего лишь возвраты, подражания, повторы или воспоминания. И Карел знает, что вчерашняя встреча была одним из этих двух-трех великих любовных актов, и он преисполнен какой-то безграничной благодарности.

Он везет маму в машине к вокзалу, и мама всю дорогу не закрывает рта.

О чем она говорит?

Прежде всего она благодарит его: у сына и снохи она чувствовала себя превосходно.

А потом она упрекает его: они очень перед ней виноваты. Когда он с Маркетой жил у нее, он относился к ней нетерпимо, подчас даже грубо, невнимательно, мама очень страдала. Да, она должна признать, что на сей раз они были очень

добры, совсем другие, чем прежде. Они изменились, да. Но почему для этого потребовалось столько времени?

Карел слушает длинную литанию упреков (он знает ее наизусть), но не чувствует никакого раздражения. Краем глаза он смотрит на маму и вновь поражается тому, какая она маленькая. словно вся ее жизнь была процессом постепенного уменьшения.

Но что, собственно, означает это уменьшение?

Не реальное ли это уменьшение человека, который сбрасывает свои взрослые размеры и пускается в столь длинный путь через старость и смерть к тем далям, где он всего лишь безразмерное ничто?

Или это уменьшение – просто оптический обман, вызванный тем, что мама отдаляется, что она не там, где он, а стало быть, он видит ее с дальнего расстояния, и она предстает его взору, словно овечка, словно куколка или бабочка?

Когда мама на минуту прервала свою укоризненную литанию, Карел спросил ее: – А что, кстати, теперь с пани Норой?

– Ты же знаешь, она уже старушка. Почти совсем слепая.

– Ты видишься с ней иногда?

– Разве тебе не известно? – сказала мама обиженно.

Оскорбленные, рассорившиеся, они давно перестали встречаться и уже никогда не помирятся. Карелу следовало бы это помнить.

– А не знаешь, где мы проводили с ней каникулы, когда я был маленьким?

– Как же мне не знать? – сказала мама и назвала один чешский курорт. Карел хорошо его знал, но никогда не предполагал, что именно там была раздевалка, где он видел обнаженную Нору.

Сейчас перед глазами возникла бугристая местность того курорта, деревянный перистиль с резными колоннами, вокруг холмы с лугами, на которых паслись овцы, звеня колокольцами. В этот пейзаж он мысленно поместил (как автор коллажей, вклеивающий одну вырезанную гравюру в другую) обнаженную фигуру пани Норы, и тотчас мелькнула мысль, что красота – это искра, вспыхивающая, когда через даль годов внезапно соприкасаются два разных возраста. Что красота – это упразднение хронологии и бунт против времени.

И он до краев был полон этой красоты и ощущения благодарности за нее. Потом неожиданно сказал: – Мама, мы тут с Маркетой подумали, может, ты хочешь жить с нами. Ведь совсем несложно обменять нашу квартиру на несколько бóльшую.

Мама погладила его по руке: – Это очень мило с твоей стороны, Карел. Но знаешь, мой пуделек уже привык к тем местам. И я там подружилась с соседками.

Они садятся в поезд. И Карел выбирает для мамы купе. Все они кажутся ему слишком многолюдными и неудобными. Наконец он сажает ее в первый класс и бежит к проводнику доплатить разницу. А уж поскольку бумажник у него

в руке, он вынимает из него сотню и сует маме в ладонь, словно мама – маленькая девочка, которую отправляют далеко в мир, и мама берет эту сотню без удивления, совершенно естественно, словно школьница, привыкшая к тому, что взрослые иногда суют ей немного денег.

Поезд трогается, мама у окна, Карел стоит на перроне и машет ей долго-долго, до самой последней минуты.

Третья часть. Ангелы

1

«Носорог» – пьеса Эжена Ионеско, на протяжении которой персонажи, одержимые желанием быть похожими друг на друга, превращаются в носорогов. Габриэла и Михаэла, две юные американки, разбирали эту пьесу на каникулярном курсе для иностранных студентов в маленьком городке на Средиземноморском побережье. Они были любимицами мадам Рафаэль, преподавательницы группы, ибо не сводили с нее глаз и тщательно записывали каждое ее замечание. Сегодня она задала им подготовить к следующему уроку совместный реферат по пьесе.

– Мне не очень понятно, как истолковать то, что люди превратились в носорогов, – сказала Габриэла.

– Надо воспринимать это как символ, – пояснила Михаэла.

– Да, это правда, – сказала Габриэла. – Литература состоит из знаков.

– Носорог прежде всего знак, – сказала Михаэла.

– Да, но если даже признать, что они превратились не в настоящих носорогов, а лишь в знак, то почему они превратились именно в этот знак, а не в другой?

– Да, это, конечно, проблема, – печально сказала Михаэла, и обе девушки, спешившие в студенческое общежитие, надолго замолчали.

Молчание нарушила Габриэла: – Не считаешь ли ты, что это фаллический символ?

– Что? – спросила Михаэла.

– Рог, – сказала Габриэла.

– Точно! – просияла Михаэла, но затем засомневалась: – Но почему тогда все превращаются в символ фаллоса? И мужчины и женщины?

Обе девушки, направлявшиеся в общежитие, опять при-
молкли. – Кое-что осенило меня, – внезапно сказала Михаэла.

– Что? – любопытствовала Габриэла.

– Кстати, мадам Рафаэль тонко намекнула на это, – сказала Михаэла, еще больше разжигая любопытство Габриэлы.

– Ну скажи что! – нетерпеливо настаивала Габриэла.

– Автор хотел произвести комическое впечатление!

Мысль, высказанная подругой, настолько захватила Габриэлу, что она, целиком сосредоточившись на происходящем в ее голове, забыла о ногах и замедлила шаг. Девушки почти остановились.

– Ты думаешь, что символ носорога должен произвести комическое впечатление? – спросила она.

Михаэла улыбнулась гордой улыбкой открывателя: – Да.

– Ты права, – согласилась Габриэла.

Обе девушки смотрели друг на друга, очарованные собственной смелостью, и уголки их губ подергивались от гордости. Затем вдруг они издали высокий, короткий, отрывистый звук, который очень трудно описать словами.

«Смех? Разве кому-нибудь еще интересен смех? Я имею в виду настоящий смех, не имеющий ничего общего с шуткой, насмешкой или потешностью. Смех, бесконечное и восхитительное наслаждение, наслаждение само по себе...»

Я говорила моей сестре, или она говорила мне, поди сюда, давай играть в смех? Мы ложились рядом на кровать и приступали. Сперва, конечно, это было только притворство. Смех принужденный. Смех потешный. Смех до того потешный, что заставлял нас смеяться над ним. И вот тогда начинался настоящий смех, смех всеохватный, уносящий нас, словно мощный прибой. Смех взрывной, многократный, беспорядочный, неистовый, великолепные, роскошные и безумные взрывы смеха... Мы до бесконечности смеялись над смехом нашего смеха... О смех! Смех наслаждения, наслаждение смехом; смеяться – это такая глубина жизни...»

Цитируемый текст взят мною из книги «Слово женщины». Ее написала в 1974 году одна из страстных феминисток, оставивших выразительный след в климате нашей эпохи. Это мистический манифест радости. В противовес сексуальному влечению мужчины, зависящему от мимолетных вспышек эрекции, а стало быть, фатально обрученному с насилием, угасанием и закатом, автор как положительный ан-

типод воспеваает женскую радость, сладостную, вездесущую и непрерывную, одним французским словом «*jouissance*». Для женщины, пока она остается верной своей природе, все является удовольствием: *«есть, пить, мочиться, испражняться, дотрагиваться, слышать или просто быть здесь»*. Это перечисление наслаждений проходит по всей книге, как прекрасная литания. *«Жить – это счастье: видеть, слышать, дотрагиваться, пить, есть, мочиться, испражняться, окунаться в воду и смотреть в небо, смеяться и плакать»*. И если соитие прекрасно, то потому, что является *«суммою всех возможных наслаждений жизни: осязать, видеть, слышать, говорить, обонять, а также пить, есть, испражняться, познавать и танцевать»*. И кормление грудью – наслаждение, и роды – удовольствие, и менструация – сладость, этот *«теплый и будто сладкий поток крови, эта теплая слюна живота, это загадочное молоко, эта боль с палящим вкусом счастья»*.

Только глупец мог бы посмеяться этому манифесту наслаждения. Любая мистика – преувеличение. Мистик не должен бояться быть смешным, если хочет дойти до самого конца, до конца смирения или до конца блаженства. Так же, как святая Тереза улыбалась в своей агонии, и святая Анни Леклер (ибо так зовут автора книги, откуда я взял цитаты) утверждает, что смерть есть частица радости и что только мужчина боится ее, потому что убого привязан *«к своему маленькому „я“ и к своей маленькой власти»*.

Наверху, подобно своду этого храма счастья, звучит смех, этот *«сладкий транс счастья, наивысший пик наслаждения. Смех наслаждения, наслаждение смеха»*. Нет ни малейшего сомнения в том, что этот смех не имеет *«ничего общего с шуткой, насмешкой или потешностью»*. Две сестры на своей кровати смеются не чему-то конкретному, их смех беспредметен, он – выражение радости бытия. Подобно тому как стоном человек привязывается к настоящей секунде своего страждущего тела (и он целиком за пределами прошлого и будущего), так и в этом экстатическом смехе человек свободен от воспоминаний и даже от желаний, ибо обращает свой крик к настоящему мгновению мира и ничего другого не хочет знать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.